

Встречи, беседы, интервью

«МНЕ ОЧЕНЬ СВОЙСТВЕННО СОМНЕНИЕ...» (интервью с Ю. Х. Копелевич)

От редакции

11 ноября 2001 г. исполняется 80 лет со дня рождения одного из самых авторитетных отечественных историков науки — Юдифи Хаимовны Копелевич.

В 1939 г. она стала студенткой филологического факультета ЛГУ. Учеба была прервана Великой Отечественной войной, в которой Юдифь Хаимовна участвовала как медсестра стрелковой дивизии, политрук роты и военный переводчик. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Закончила университет в 1947 г., затем поступила в аспирантуру. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «филологические науки». И вот уже более 45 лет она работает в Санкт-Петербургском филиале ИИЕТ РАН.

Ю. Х. Копелевич — автор более 150 научных публикаций, среди которых — 6 монографий, хорошо известных не только тем, кто профессионально работает в нашей области, но и гораздо более широкому кругу читателей, — «Возникновение научных академий». Л., 1974; «Основание Петербургской академии наук». Л., 1977; «Научные академии стран Западной Европы и Северной Америки» (в соавт. с Е. П. Ожиговой). Л., 1989; «Христиан Гольдбах» (в соавт. с А. П. Юшкевичем). М., 1983; «Христиан Готлиб Кратценштейн» (в соавт. с Г. К. Цверавой). М., 1989; «Иоганн Антон Гильденштедт». М., 1997.

Редколлегия и редакция ВИЕТ, а также весь московский коллектив Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, пользуясь случаем, обращается непосредственно к юбиляру:

Сердечно поздравляем Вас, Юдифь Хаимовна, со славным юбилеем! Мы все — неизменные поклонники Вашего таланта. Каждая вышедшая Ваша работа — событие. Мы восхищены Вашей работоспособностью, преданностью нашему общему делу. Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения планов и мечтаний. Счастья и процветания Вашим близким!

Мы горды тем, что Ю. Х. Копелевич относится к числу постоянных авторов ВИЕТ и что ее отношение к нашему журналу весьма доброжелательно. Это проявилось, в частности, в том, что, будучи необыкновенно скромным человеком, чурающегося всякого внимания к своей особе, она все же откликнулась на нашу просьбу и согласилась провести беседу с нашим «специальным корреспондентом» — доктором физ.-мат. наук, профессором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виталием Константиновичем Новиком.

Предлагаем вниманию читателей это интервью.

— Дорогая Юдифь Хаимовна! У Вас за плечами долгая плодотворная, содержательная и завидная жизнь. Вы стали ученым, которого окружает ореол поистине трепетного уважения, я бы даже сказал, — обожания...

Ради Бога, не произносите таких слов!..

— Но в Вашем умении читать с листа рукописную латынь или рукописную немецкую готику великолепным литературным русским языком присутству-

ет какая-то завораживающая мистическая сила!

Вы — один из немногих историков науки, который непосредственно участвовал в боевых действиях, защищая Ленинград. Ваши книги уже стали классикой, в частности, та, которую Вы мне только что подарили. С высоты прожитых лет Вы можете оценить и собственную судьбу, и общегосударственные события, а также охарактеризовать прошлое и настоящее Вашей профессиональной сферы — истории науки. Люди, живущие такой жизнью, как Ваша, сами становятся и субъектом, и объектом истории науки. Полагаю, что, как сейчас, так в дальнейшем, эти ответы станут предметом изучения для научной молодежи.

Это перехлесты!..

— *Расскажите, пожалуйста, о Ваших родителях, семье, детстве, школьных годах.*

Обычно рассказы ученых о себе начинаются с рассказов о предках. В большинстве случаев их предки были людьми науки, от них эстафета и перешла потомству. О себе я этого сказать не могу.

Я выросла в так называемой провинции. Город Гомель, когда я родилась, еще не был белорусским городом. Не помню точно, но в конце 20-х — начале 30-х гг. его присоединили к Белоруссии, и тогда начался процесс «белоруссизации» Гомеля. Отец мой был учитель математики в школе. В 1912 г. он закончил Виленский учительский институт, получил направление в Херсон, но там он чем-то не понравился. Его вернули в Вильно, и оттуда он был направлен в Гомель. Поэтому Гомель стал родиной нашей семьи.

До меня в семье было трое детей. Старший брат Саша умер в 1919 г. во время эпидемии тифа. Его портрет всегда висел в центре на стене в нашей комнате... Он заразился от мамы, которая болела тифом, и умер буквально в одночасье от менингита. Осталось двое детей: моя старшая сестра и братец. Третьим ребенком стала я.

Отец был тогда директором одной из гомельских школ для детей беженцев. Гомель входил в арену военных действий, причем город без конца переходил из рук

одной власти к другой. Его грабили всевозможные банды, немцы входили в город. Надо сказать, что о немцах у гомельчан было самое доброе воспоминание. С момента их прихода в городе наступила тишина и порядок. Можно рассказать о таком анекдотичном эпизоде. Немцам понравилось школьное здание, где отец был директором. Они облюбовали этот дом для размещения какого-то своего учреждения. Предложили отцу выбрать другое здание в городе, которое ему подходит. И когда он выбрал, сделали там ремонт, перевезли туда всю мебель, вплоть до часов, а также все книги, все бумаги... Не могу сказать, сколько это длилось. Однако такие воспоминания сохранились долго.

Было голодно. Брат и сестра рассказывали много анекдотичного о том, что и как тогда ели. Мой брат как больной ребенок получал иногда особый паек — так называемое «хорошее питание». В него входило несколько полусгнивших свеклин... Но все это было до моего рождения. Мама говорила, что мне очень повезло: вскоре после моего рождения наступил нэп. Нэп я помню очень хорошо: вся жизнь переменялась. Открылись рынки, крестьянки из деревень стали приносить и продавать молоко, в общем, уже можно было вскормить ребенка. У нас сейчас — я иногда слышу — появилось представление о том, что когда пришел нэп, наступила богатая жизнь. Ничего подобного! Товаров не было, потому что не было легкой промышленности. И одеваться было не во что. Я, как и все мои подруги, носили мамины платья, которые перешивались, потом переходили от старших к младшим, словом, ходили в обносках. Но не горевали по этому поводу... Главное, что мы не голодали, были сыты. Мне помнятся эти роскошные рынки, куда крестьяне свозили очень много хороших продуктов, и было это не очень дорого... Еще до революции отец снял для нашей семьи неплохую квартиру, а поскольку потом все частные квартиры стали государственными, то так мы и жили в хорошей квартире, в районе центральных улиц. Правда, там было безумно шумно, потому что мостовая была из булыжников, а по ней со всех сторон грохотали подъезжавшие к рынку подводы. Но мы к этому привыкли, и я считаю, что детство мое было счастливым.



Ю. Х. Копелевич, 1955 г.

Отец преподавал математику в нескольких школах, на рабфаке, в техникуме — работал много, потому что нужно было все-таки кормить семью. Мама работала акушеркой, но практика была небольшая. Словом, мы жили относительно благополучно.

Училась я в обыкновенной гомельской школе. Я довольно рано научилась читать, читала очень много и была в своем классе рассказчицей. Вокруг меня на переменах собирались ребята, и я что-нибудь рассказывала. Когда мне было восемь-девять лет, то прочитала всего Виктора Гюго. Память была хорошей, и я могла пересказывать «Собор Парижской богородицы» в течение многих дней, с перерывами. Я была очень активной школьницей — пела в хоре, занималась в драмкружке, декламировала, участвовала в физкультурных выступлениях...

Надо сказать, что «белоруссизацию» Гомеля жители встретили несколько юмористично. До того все говорили по-русски. Должна сказать, что в целом город был очень интернациональным. Население — русские, евреи, поляки, литовцы, украинцы. Кроме того, в городе было довольно много поляков, но они держались несколько обособленно. Там были беженцы времен войны, была своя польская школа... Много было смешанных браков. Никто не спрашивал у человека, какой он национальности. Это нигде, по-моему, не фиксировалось в документах. Надо, правда, сказать, что некоторые наши учителя очень быстро овладели белорусским языком, и это стало мощным подспорьем в их карьере. Если кто-то мог на собрании выступить по-белорусски, то карьера была обеспечена.

В городе в основном говорили по-русски, но в силу многонациональности, всего понемножку: еврейский, польский, литовский... Часто, кстати, хохмы произносили как раз по-еврейски. А на вечерах самодеятельности русские девочки могли петь еврейские песни. Теперь это даже трудно себе представить. В пионерском лагере был еврейский отряд — это были дети из еврейской школы. Каждый отряд утром докладывал на линейке по-еврейски. Это считалось совершенно естественным. Интересно, что когда в городском клубе отмечались всякие революци-

онные даты, то школа, которая в эту четверть имела наилучшие показатели, выступала с рапортом. В проходе между рядами выстраивались ученики в белых кофточках с галстуками и произносился рапорт — в стихах, выученных, конечно, заранее, но составленный самостоятельно. Стихи сочинялись на том языке, на каком велось преподавание в школе. Было, например, в городе несколько еврейских школ — они произносили эти рапорты по-еврейски. И это никого не удивляло.

Пионерское детство мое было очень бурным, потому что я была активной девицей. И на вечерах выступала, чаще всего с декламациями, а декламации тогда были в моде. Даже выходили специальные сборники: «Для чтецов-декламаторов».

Я не могу пожаловаться на свое детство. Семья очень хорошая, дружная. Интересовались всеми событиями, и дома все обсуждали вместе. Мой отец и дядя были большими изобретателями всякой радиоаппаратуры. У нас у первых в Гомеле появилась антенна... У нас часто собирались соседи, и однажды пришла соседка-старушка и спросила, не может ли она поговорить со своей сестрой в Америке. Мы тогда над таким вопросом очень смеялись и совершенно не подозревали, что когда-нибудь подобное будет вообще возможно.

Потом радио распространилось по всему городу. Появились эти «черные тарелки». И надо сказать, появление этих «черных тарелок» сыграло в моей жизни огромную роль. Я впервые в своей жизни услышала множество прекрасных песен. И я научилась их петь. Мы собирались вместе и разучивали эти песни... Какие это были прекрасные песни и именно — массовые... Кто теперь поет песни, которые услышал на эстраде! А тогда — пели все, знали слова. Появились песни из фильмов. Какую огромную роль играло кино в нашем детстве!

Детство было прекрасным. Правда, с 1930 года опять стало голодно. Мы теперь говорим о голоде на Украине, но и Белоруссия пережила это, быть может, чуть в меньшей мере. Хотя трупы умерших на улицах Гомеля лежали... И в нашем дворе умерли двое. Хлебные карточки были, но хлеба было очень мало. Уже



*Выпускники полной средней школы в пионерском лагере. Июнь, 1938 г.
Ю. Х Копелевич — вторая слева в первом ряду*

взрослой я часто думала: мы не так сильно голодали, почему? Появился Торгсин. Туда родители и снесли все, что можно. Были подсвечники, обручальные кольца — все ушло в обмен на муку и хлеб. Мы не голодали так уж сильно, но в нашем классе многие голодные дети падали в обморок. И так было примерно с 1930-го по 1935 годы.

— *Что Вы можете сказать об уровне обучения в провинциальной школе?*

Учителя у нас были в основном дореволюционные: математик, литератор... Хорошие были учителя и очень много внимания уделяли не только классным занятиям, но и кружкам. Зубрежки было не так много. Я не помню, чтобы я что-то зубрила. Надо мной смеялись, что я слушаю уроки с открытым ртом, что именно так все усваиваю и запоминаю. Я хорошо училась, хотя не была круглой отличницей. Тогда это как-то не было даже стиму-

лом. В почете больше были активисты, которые принимали участие в общественных мероприятиях.

Когда я закончила седьмой класс, были построены четыре новых «сталинских» школы в разных концах города, но по одному проекту. По городу прошел слух, что в эти школы будут принимать только отличников. Я тем не менее перешла в такую школу, хотя, повторяю, круглой отличницей никогда не была. Овладела белорусским языком, писала сочинения по-белорусски. Сейчас, конечно, подзабыла, но понимать все понимаю.

Старшие классы — это очень активная комсомольская работа. Еще я занималась в музыкальной школе, но когда перешла в десятый класс, то поняла, что всю эту нагрузку вынести не могу. Решала, что бросить: драмкружок или музыкальную школу? Отец, конечно, считал, что музыкальная школа — это более серьезно; родители

мои драматические увлечения не разделяли. Но я сохранила для себя драмкружок и до самого конца десятого класса была этим занята. К каждому празднику готовили какую-то новую пьесу, и я обязательно там участвовала. Был исторический кружок, я писала сочинения по истории Гомеля. Ходила в музей, который располагался в дворце бывшего наместника в Польше князя Паскевича. Я впервые видела такую роскошь и с удовольствием ходила в подвал этого музея, где мне давали всякие документы по истории Гомеля.

Надо сказать, что было очень сильное классовое разделение — вернее, имущественное. Те, кто имели рабочие карточки, могли жить вполне благополучно. Что касается интеллигенции, то перебивались как могли. А тем, кого называли спекулянтами, — владельцев маленьких лавочек, — совсем было плохо. Многие, конечно, перестроились... Но вот помню я своих соседей, которые как-то крепко держались за свою маленькую табачную лавочку, и закончилось все это весьма печально, потому что детей этой семьи не брали в школу. Они были «лишенцы» с поражением в правах...

В 1937 г. я пошла в десятый класс, а братик мой пошел в фабзавуч. И это было хорошо для него. Учиться он ленился, а руками работал хорошо. Он с отцом многому научился, они постоянно что-то мастерили. Словом, он отлично закончил фабзавуч и сумел поступить в институт в Ленинграде, в Институт точной механики и оптики. Как говорится, без всяких связей и протекции...

— *Каким же образом Вы оказались в Ленинграде?*

Моя лучшая подруга — старше меня на год — поступила на филфак в Ленинграде. И вот как-то под ее влиянием я тоже стала готовиться к поступлению на филфак в ЛГУ.

Но надо сказать, что этот год был какой-то уродливый. Это был 1939 год, когда стали выдавать так называемые «золотые аттестаты» — тем, кто смог получить все пятерки. В вузы с таким аттестатом принимали без экзаменов. Но таких отличников оказалось больше, чем вузы могли принять. И вот я, ничего этого не зная, сидела в ЛГУ и наивно ждала сооб-

щения, что я зачислена, но — увы! — меня не приняли...

Так что мое первое знакомство с Ленинградом не было радостным. Надо сказать, что по иллюстрациям, книгам я ожидала увидеть более роскошный город... Когда я вышла на Витебском вокзале, то увидела такие обшарпанные, убогие дома... а тут еще узнала, что я не принята! В яркий солнечный день целый день стояла в очереди на Университетской набережной, чтобы получить свои документы обратно.

Но мой брат в тот год уже закончил ЛИТМО, был на хорошем счету, имел много друзей, и — хотя срок сдачи документов уже закончился — его просьбу учли и приняли мой аттестат. Так я поступила в ЛИТМО. Я была совершенно не настроена на это. Мой папа — математик, и я очень любила решать трудные задачи, но все-таки не была так расположена к математике, чтобы ею заниматься. Я пришла на занятия с опозданием месяца на полтора, и когда услышала лекцию, в которой я абсолютно ничего не поняла, то была в ужасном настроении. Я сразу представила первую экзаменационную сессию, на которой я, безусловно, провалюсь... После того как я уехала из Гомеля такой, можно сказать, звездой! Но, как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. В тот год всех студентов-парней забрали в армию — с первых и, кажется, даже со вторых курсов. И многие места в вузах освободились. Объявили дополнительный прием, в том числе и на филфак. Первым делом заполнили русское отделение, а я попала на классическое. Вот так я стала «классиком». У меня не было никаких семейных или потомственных связей с этой наукой. В тот момент мне еще не исполнилось 18 лет...

Надо сказать, что филфак отнесся к нам, вновь зачисленным, довольно хорошо. Проводили дополнительные занятия. И мы ходили на основные занятия, где мало что понимали, но с нами занимались с самых азов: латынь, греческий... Кажется, во втором семестре мы уже влились в общий поток. И все это мне очень-очень понравилось.

— *Вы помните тех, кто преподавал тогда? Вы помните Лурье?*

Конечно! Лурье тогда преподавал больше на истфаке, но и у нас. Он был очень остроумен, доброжелателен. Мы очень любили его занятия, даже ходили на его занятия на истфак, с ним читали какую-то греческую комедию.

— *А когда Вы приобрели эти потрясающие навыки — читать латынь с листа?*

Я вовсе не была выдающейся латинисткой. Самой обычной студенткой, ну, может быть, немножко лучшей, чем какие-то другие. Были у нас более блестящие студенты, был, например, такой Ростислав Васильевич Кинжалов. Он пришел, уже имея интерес к американистике, в частности, к народу майя. Он что-то уже о них писал... В общем, он был действительно гений.

Слушали мы лекции Ивана Ивановича Толстого... Преподаватели были очень хорошие, преданные своему делу. Как они могли воспринимать нас, понятия не имевших о древнегреческом, латыни? Они-то привыкли к тому, что на филфак приходят выпускники гимназий, которые с этими языками знакомы. Помнятся всякие смешные вещи. Был у нас такой Петр Викторович Ернштедт. Вызвал он меня к доске. Я пишу домашнее задание. Но пишу — как я сейчас понимаю — такую чушь, что он не выдерживает и начинает: «Вы, наверное, имеете в виду ионическую форму такую-то...» Он все принимал всерьез!

Как мы учились? Надо вспомнить, когда мы начали учиться, то скоро началась финская война... Открылись госпитали, и мы добровольно записались дружинниками или общественниками, это была довольно трудная обязанность. Мы ходили ночью дежурить в госпитали. Сидели с ранеными, пока они не засыпали, что-то рассказывали, помогали, как могли, медсестрам: если какая-то перевязка развязалась, или приносили лекарство, обезболивающее и тому подобное. Конечно, после такой ночи приходиться на занятия было нелегко.

Что касается еды, то утром поесть просто не успевали. Только после пяти часов, когда заканчивались наши основные и дополнительные занятия, мы шли в студенческую столовую и получали целый метр талонов, — потому что это были одновременно завтрак, обед и ужин. Тогда и ели.

Талоны, вероятно, платные, но стоимость была незначительной. Университет, думается, доплачивал за студентов.

Еще в 6 утра становились в очередь, чтобы получить сто граммов масла, — брать его и послать посылкой домой — в Гомеле тогда просто голодали.

За этот учебный год я похудела так, что когда мама меня увидела, она рыдала. Но настроение было боевое. Особенно, когда кончилась финская война. Тогда казалось, что наступил новый мир. Я перешла на второй курс. Надо сказать, что сама не знаю, каким чудом у меня в дипломе одна только четверка, все — пятерки. Ведь во время финской войны я посещала только занятия непосредственно по специальности. А все общие курсы — «Средние века», «Современная история» и тому подобное — я даже в лицо не знала преподавателей. Я их не посещала, хотя сдавала экзамены. Каждый раз это было какое-то чудо.

Помню, готовилась к экзамену по средним векам. Достала толстенную книжку, которую я впервые взяла в руки и должна была всю прочитать. А при филфаке была злая такая служащая, которая топила титан, так она заявила, что после 10 часов она выключит свет, так ей веле-но. И она действительно выключила свет, я уже считала, что все погибло. Что я могла сделать? Я пошла с раннего утра и стала за той дверью, где принимали экзамен. Когда кто-то выходил, все спрашивали, что его спросили и что он отвечал. Можете себе представить: набравшись вот такой информации за целый день, я пошла отвечать сама и получила пятерку.

— *Где и когда появляется немецкий язык?*

Немецкий я, конечно, немножко знала. Моя старшая сестра знала его прилично и даже давала кому-то уроки. Я читала детские немецкие книжки. Папе это нравилось. Какие-то знания были, но очень слабые. Все, что я знала по-немецки, это я получила в основном в университете. Читала, брала из библиотеки книги. Не думала, конечно, что придется работать именно с немецким.

— *Из Вашей семьи Вы и Ваш брат поступили в вузы и какие замечательные вузы!.. Осень 1940 года, предвоенные*

месяцы... Расскажите, какое было настроение в этот предвоенный семестр. Ведь война действительно висела в воздухе.

Вы знаете, никто не думал, что война дойдет, скажем, до Гомеля. Все так верили сталинским словам, что война будет на чужой территории... Конечно, волновались за своих сыновей, которым предстояло участвовать в этих будущих войнах. Но о том, что война придет на нашу землю, вообще никто не думал.

— *А что знали о Германии в 1940 году?*

То, что писалось в газетах. В университете у меня появилась подруга. Такая Ольга Володина. В тот год она работала по направлению университета в Германии. Когда вернулась, она была так мрачно настроена... А мы ведь в то время с Германией были большими друзьями. Она говорила: «Вы не понимаете, что из себя представляют немцы...» Когда началась война, то пароход, который вез ее и других наших студентов на родину, был разбомблен и все потонули, она в том числе.

Год перед войной... Мальчики стали серьезно заниматься уроками военного дела, а девочки пошли в Красный крест. Нам предложили выбор: можно было просто заниматься санитарным делом или поступить на специальные занятия Красного креста, которые готовили медсестер для войны... На эти курсы пошла, вероятно, только пятая часть студентов. Я, конечно, пошла на курсы, которые готовили полевых медсестер. И мы даже не могли понять тех, кто от этого отказался.

— *Наступает весенний семестр 1941 года. Вы заканчиваете второй курс филологического факультета. Как Вы услышали слово «война»?*

Я тогда жила в общежитии, на улице Добролюбова. Часов шесть утра, вдруг стук в дверь. Всех комсомольцев приглашают пойти в райком партии. Зачем, ничего не говорится. Мы встаем, одеваемся, сидим там, ничего нам не говорят. Где-то в 12 часов мы слышим радио и — Молотов... Война.

Передать словами это состояние просто невозможно. Тогда, конечно, мы еще не верили, что война докатится до Ленин-

града, но само по себе — война... Мы не знали, что должны делать сегодня. Наконец кто-то пришел и сказал: «Сейчас по всему городу будут рыть траншеи — для того чтобы люди могли в них прятаться во время обстрела и бомбардировок». — «Где наша траншея?» — спросили мы. Нам показали место около гавани. Дали лопаты, и мы стали рыть. Помнится мне один ребенок, который тоже взял лопату и молча вместе с нами рыл траншею. Я очутилась рядом с ним и спросила, как его зовут. Он сказал: «Герман». Я поняла суть дела. Наверное, родители его отправили. Это была немецкая семья. И я тогда только задумалась о том, какова же будет судьба этих немецких семей?..

Один день мы рыли эту траншею. Работу закончили, пошли в общежитие, голодные, конечно. И вот что мне запомнилось: вся улица кишмя кишела людьми, которые либо с пустыми сумками бежали в магазин, либо уже с полными выходили оттуда. Торчали макароны, сумки набиты... Мы тогда презирали этих людей. Но когда мы уже сильно голодали, я вспоминала этих людей и думала, что они были не так уж неправы... Быть может, это спасло им жизнь?

Начались отправки на окопы. В течение лета я три раза была на окопах... Люди там надрывались. У всех были поранены руки, потому что работали без всяких перчаток и варежек. Для санитаров там была работа, все эти раны надо было перевязывать. Мы были там долго, нас иногда обстреливали — «прогуливался» какой-нибудь немецкий самолет. Все наши остались живы.

Словом, вернулись в город в последних числах августа. В первый день, когда я пришла в общежитие, выяснилось, что украли мои карточки. Целый день я была голодная. Потом кто-то корочкой угостил... Я никак не могла понять, где и как буду жить, пока не заберут в армию? И через пару дней прихожу в общежитие, а меня ждет повестка. Я так обрадовалась этому, что никто не мог меня понять! Мне сказали адрес — это был Клуб связи. Я и еще пара девочек с филфака пришли туда, надели шинели, сапоги... Конечно, шинели — длинные, сапоги — большие, но мы были так рады, что уже на месте, что есть определенность!..

Я попала в медсанбат. И здесь, в Клубе связи формировался штат этого медсанбата.

— *Какие новости в этот момент были из Гомеля?*

Никаких! Гомель еще не был немецким. Гомель оборонялся 36 дней, мне потом рассказывали.

— *Но к сентябрю Гомель уже был сдан.*

Таких точных сводок в газетах не было.

— *А судьба Ваших родных в Гомеле?*

Они очень долго были наивны. Но когда фронт продвинулся, то собрали какие-то пожитки, вещи, документы и отправились к родственникам на Украину. Уже оттуда вместе с этими родственниками попали в какой-то эшелон, который привез их в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область, и там они пробыли всю войну.

Они получили вскоре письмо, не помню уже от кого, кто знал, где я нахожусь, и им написал, сообщил мою полевую почту. Связь у нас была. Помню, в голодные блокадные годы, моя фантазия не могла ничего приятнее представить, как моих родителей, сидящих перед столом, а на столе стоит миска дымящейся картошки...

— *Сентябрь 1941 года, до блокады осталось два месяца... Такая хрупкая девочка, как Вы, что Вы могли делать в медсанбате?*

Разве там были только гиганты? Были там девочки и меньше меня. Была у нас такая маленькая девочка Симочка, она каждый день ходила к начальнику и требовала, чтобы ее послали на передний край. Наконец они не устояли и отправили ее на передовую. Буквально через несколько дней ее привезли среди раненых, у нее была прострелена голова. В общем, она погибла. Так что я была не самая маленькая, а как большинство.

Мы ходили собирать раненых. Были даже какие-то занятия. Потом начались наши перемещения. В течение двух лет, пока я была в медсанбате, поменяли четыре или пять мест нашего размещения. Все их я хорошо помню.

Раненые были также и из ближайших разбитых домов. За это время мы много-

му научились, научились ухаживать за ранеными. Наш медсанбат был на очень хорошем счету, потому что были очень квалифицированные силы хирургов. Они получили разрешение проводить полостные операции и отправляли только самых тяжелых, а также черепные ранения. Если привозили раненого, у которого вся голова забинтована, то его укладывали у нас. Если он не приходил в сознание, то у нас же и умирал. Если раненый приходил к себе, то его отправляли в госпиталь. У нас был эвако-взвод, с машинами, который без конца транспортировал раненых в город. Часто они попадали под обстрелы... Жизнь в медсанбате — особая, об этом можно долго и много рассказывать.

В медсанбате меня сначала выбрали секретарем комсомольской организации, а потом, когда стали сокращать штаты политработников, и нашего политрука забрали на передний край, то меня сделали политруком санитарной роты. Я не могу сказать, что была в восторге от такого повышения. Мне было гораздо уютнее и роднее среди своих подруг, и делать то, что они сами делали, а не командовать. Я этого не умела.

Каждый день получали толстую стопку газет, я должна была все их прочесть и рассказывать своим, проводить политинформацию...

— *Как пересеклись война и Ваш немецкий язык?*

Чтобы ответить на Ваш вопрос, я должна коротко вернуться к своей работе в качестве политрука в медсанбате.

Чаще всего мне приходилось помогать медсестрам. Сейчас я думаю, что политруком я была не блестящим. Просто во многих случаях надо было командовать людьми и заставлять их делать то, что они не хотят. А это просто отсутствовало в моей натуре. Я все старалась на товарищеских началах... В общем-то, ничего, признавали меня руководством. Иногда были ночные дежурства, все офицеры дежурили... Иногда нас отправляли углублять траншеи. Я как офицер вела своих...

— *Какое было у Вас звание?*

Младший политрук, потом — политрук. Потом слово «политрук» исчезло. Это означало — старший лейтенант.

Два года так мы странствовали в разных помещениях и работали в зависимости от того, сколько было раненых — много или мало. Мы довольно долго пробыли в районе мясокомбината. Там было очень много раненых. Иногда привозили — были такие дни — 800 раненых. Представляете, что это такое для медсанбата? Это было в августе 1942 года, нам было известно, что немцы готовят штурм Ленинграда.

Тогда я, конечно, включалась в сестринскую работу, в операционной... Многие наши из санбата тоже были там ранены. Потом нас снова вывели в город. Словом, наступил момент, когда всех политруков рот ликвидировали и все они должны были искать для себя какую-то другую работу. Со мной вначале решили очень просто: перевели в политотдел дивизии. За мной пришел солдат, велел собрать манатки, и я отправилась туда. Там в моем ведении была еще так называемая

библиотека, которая получала новейшую политическую литературу. Я должна была за этой литературой ходить в город, в Дом офицеров. Но скоро и это кончилось, потому что стали сокращать состав политотделов. Мне дали понять, что надо искать работу. В политотделе ко мне относились очень хорошо, хотели отправить меня работать в армейский госпиталь, который находился где-то на Охте.

Можете ли Вы меня понять? Вероятно, поймут те, кто сами были в таких обстоятельствах... У нас была какая-то армейская гордость. Мы гордились тем, что находимся на переднем крае. А госпиталь, хоть и армейский, но тыловой. И я сказала, что в госпиталь не хочу. «А что же Вы хотите?» — «Может быть, подучиться и — переводчиком». Как раз тогда организовывались такие курсы при политотделе армии. Меня туда и отправили. Это было где-то на Благодатной улице. Каждый день я ходила на эти занятия. Мы изучали военную лексику, формы допроса, формы ответов... Считалось, что для работы переводчиком в полку, этого достаточно.

Так пошел в дело мой немецкий язык. Это было в 1943 году.

— *Расскажите о первой блокадной зиме.*

Возьмем одну из наших стоянок, какой-то техникум за Сенной площадью. Туда нас перевели, когда уже не было ни электричества, никакого тепла... Операционная под фонарями «летучая мышь»... А нам отвели комнаты, где мы спали. Зима была очень морозная, в комнатах было минус 15. Раньше я даже не могла себе представить, что при такой температуре можно спать. Мы, конечно, никогда не раздевались, спали в брюках, ну не в валенках, но сколько было носков, все надевали. И поскольку мы плотно прижимались друг к другу, мы, в общем, спали... На столе в чернильнице был лед.

Еда была такая: утром — горсточка сухарей. Нам, кстати, давали усиленный паек по сравнению с рабочими: 250 граммов хлеба, но в форме — 125 граммов сухарей. Утром — треть от этих 125 граммов — капля каши (клякса каши). Днем, кроме этой кляксы каши, давали зеленый борщ, щи — как хотите это назовите. Все это благодаря тому, что наш повар очень



*Сентябрь, 1941 г.
Политрук санитарного батальона*



*Лето 1942 г. Позади первая зима блокады.
Партбюро медсанбата. Ю. Х. Копелевич — во втором ряду вторая справа*

предусмотрительно заставил нас ходить на огороды, где была неубранная полусгнившая капуста, еще что-то. Из всего этого варили суп. Еще немного давали консервов — вероятно, американских. В эти щи клали немножко свиной тушенки. Хотя я была очень голодная, но меня от нее тошнило. И ужин — опять клякса каши и горстка сухарей. На десять дней давали горсточку сахара. Считалось, что удобнее, когда этот сахар растопишь. В наших комнатах постоянно горели горелочки и топили этот сахар.

Привозили раненых, оперировали при этих «летучих мышах». В операционной стояли печки-буржуйки. В приемной, куда привозили раненых с мороза, тоже стояли эти буржуйки. Около печки обязательно кто-нибудь спал, потому что это было единственное место, где было тепло. Воду нужно было приносить из ручья, который тек неподалеку...

Если мы были голодные, то каково же солдатам! Один солдат попросил командировку в город и пришел отравленный. Его накормили какой-то баландой, а желудок уже не работал. Его еле спасли. К нему подходили другие солдаты и не спрашивали, как он себя чувствует, а спрашивали: «Где ты взял?»

Потом еще были у нас страшные вещи — химика. У них был в сумке такой химпакет. Они выпивали этот состав, который надо было употребить в случае попадания на тело иприта, илюзита... Это был какой-то спирт, но спирт явно несъедобный. Когда их привозили к нам, у них были страшные судороги. По-моему, ни один не выжил. И мы специально выставляли их на обозрение солдатам, но все равно не действовало, травились постоянно...

Весной появился рынок. Люди продавали все, что они могли вынести из дома,

можно было купить за бесценок золото и вообще все, что хотите... Но мало кто об этом думал тогда.

— *Что было, когда Вы закончили курсы переводчиков?*

Меня направили в 125-ю дивизию нашей 42-й армии. Там в каждой дивизии был офицер для работы среди войск противника. Ему поручили, чтобы он меня отвел в эту дивизию. Штаб этой дивизии и штаб нашего полка были в авиагородке...

Что я делала? Запаслась некоторыми пособиями и занималась с разведчиками. Ввод разведки постоянно менял состав, потому что они недолго жили.

— *Да, жизнь разведчика — два-три месяца, не больше.*

Целое лето перед полком и дивизией стояла задача — привести «языка». За целое лето это удалось сделать только два раза. И то этих немцев притаскивали ранеными. Непонятно, довозили ли их живыми до больших штабов или нет. Открытое место, открытая полоса, которую предстояло нашим разведчикам переползти... Осветить все это очень просто. А надо не просто пробраться, а прыгнуть в траншею, схватить солдата — на виду у других! и тащить его к своим... Это удалось при мне один раз. Разведчики, которые пошли туда, — все погибли, кроме того, который этого «языка» притащил. У «языка» был разорван живот... Ну, что я узнала? Что этот солдат находился здесь только три дня. Много ли он мог знать и знал? Так, кое-какие сведения... Разве они стоили человеческих жизней? Я не знаю, не мне судить, может и стоили...

— *Вы попали в полевую разведку полка. Ребята там тоже молодые, и жизни у них здесь было два-три месяца... Какая же там была атмосфера, если молодые ребята понимают, что жить им осталось два-три месяца максимум? Вы встречались с этими людьми, смотрели им в глаза. Четверо-пятеро уходят в ночь... Их ведет офицер...*

Офицер на нейтральную полосу с ними не выходит, он ждет их на крайней точке наших траншей. Это не значит, конечно, что все ушедшие гибли. Некото-

рые возвращались. Но при мне несколько составов полностью погибли. Приходили новые. В основном это были отчаянные ребята, многие из уголовников.

— *Наступила зима 1943 года. Есть ли у Вас известия о Сталинграде?*

Смены настроений в зависимости от того, что где происходит, — этого не передать никакими словами. Конечно, когда мы там были, мы уже поверили в нашу победу. Если немцы находятся у нас под городом, мы их видим, они нас видят, но ничего не могут сделать — значит, все, им конец.

И вот произошло снятие блокады... Мы чувствовали, что готовятся к этому, мы только не знали, когда это будет. Но когда нам всем скомандовали выйти и сесть в грузовые машины, и пошли эти машины на дорогу, на Московское шоссе... вперед с открытыми фарами... Вы можете себе представить, что люди, которые три года не видели освещенной комнаты, не могли зажечь спичку — запрещалось, когда солдаты ночью выходили в туалет, то зажечь спичку можно было только в самом туалете. В палатах с ранеными — только коптилки... И вдруг — машины с открытыми фарами! И это на всех подействовало, как сигнал, что война идет к победе. Никто не думал о том, вернется ли он живым или нет, думали только о том, что все-таки мы победили и Ленинград остался, остался, остался...

Доехали до переднего края, командование полка (и я туда относилась) затолкали в какую-то землянку... И утром начался наш залп. Такого грохота не представить. Как это уши выдержали! Весь горизонт почернел. Мы думали, когда это прекратится, пойдем вперед. Но немцы не просто знали о нашем наступлении. Они замерыли наши траншеи, зафиксировали их... Как только наши поднимались, шел шквальный огонь по траншеям! И все оставались в траншеях. И так — второй раз, третий... Только после того, когда немцы убедились, что все-таки нас много, они ушли. И мы тогда поднялись и пошли вперед — на Воронью гору. А наши траншеи были завалены людьми в белых халатах... Я узнавала знакомые лица, и вот они теперь... в этих застывших позах, убитые... Так это было тяжело, не

передать Вам... Там я впервые поняла, чего нам стоила эта победа.

Когда мы поднялись, перед нами был Ленинград. Впервые я увидела его с такой высоты и даже не верилось, что все это еще цело. Мы увидели дорогу, по которой наши шоферы каждый день возили раненых. И как они уцелели? Ведь видно все! По ним постоянно стреляли... Как им удавалось ускользнуть?

Оттуда мы двинулись, двинулись, двинулись — вперед, вперед, вперед, а немцы уходили, уходили... И оставляли смертников. Если мы оставались ночевать в какой-то деревне — а шли мы по направлению в Кингисепп — в домах на чердаке или подвале оставались смертники, которые должны были нас задерживать. Их вытаскивали оттуда, расстреливали, некоторых — более молодых, которые могли еще дойти, — отправляли к нам в тыл. Знаете, я впервые тогда увидела немцев с перебитыми руками... молодые, тоже было жалко.

— *Вам надо было их допрашивать?*

Не успевали, иногда только допрашивали...

В одну из изб, где мы ночевали, принесли полевую почту, и я получила письмо меццо из госпиталя. Писал Михаил Николаевич, что он ранен миной, на которую его пушка наехала...

— *Мы говорим о Вашем супруге? Он был на войне артиллеристом?*

Да. Он писал, что ранен в голову и что один глаз у него изъят, а второй — неизвестно, будет ли видеть или нет. Вот такое письмо... И я впервые разрыдалась. Видимо, вырвалось у меня все, что копилось все это время. Помнится, как меня окружили наши офицеры и говорили: «Дура, чего плачешь, ведь он живой остался». Настолько они не надеялись выжить, что человек, потерявший глаз, был для них предметом зависти.

После этого мы пошли дальше. Кингисепп... А оттуда мы должны были двинуться на Нарву. Но по дороге — когда перебирались через речку Плюсса — я провалилась в воду, простудилась, и полковой врач отправил меня назад. В Кингисеппе я забралась в поезд, который шел целые сутки, и приехала в Ленинград.

— *Когда и где Вы впервые встретились со своим будущим супругом?*

Наш политотдел однажды располагался в одном доме со штабом его противотанкового дивизиона. Встретились так: он стал брать книги у меня в библиотеке... Это было в 1942 году.

Я приехала в Ленинград, пробыла там три дня и меня отправили в резерв. В резерве можно было отогреться, помыться, немножко попитаться... Потом был приказ — немедленно всех на фронт! Причем, всех, без исключения. Но я — была беременна... В мае 1944 года родилась Люсечка.

Жить было негде. Из госпиталя с ребеночком на руках пришла к моей подруге из медсанбата, где я была политруком. Она раньше меня ушла оттуда, и у нее тоже был ребенок. Она была замужем за редактором нашей дивизионной газеты. Он демобилизовался, получил квартиру... И некоторое время я жила у них. У меня не было карточки... Ох, не стоит даже все это рассказывать.

— *Я все-таки должен задать Вам вопрос, именно Вам... Каково Ваше мнение о заявлении одного известного писателя, что Ленинград нужно было сдавать немцам?*

Такое заявление мог сделать только человек, выживший из ума. Человек, который не знал настроения ленинградцев. Ведь ни один из умирающих ленинградцев не сказал таких слов! Ни один!

— *У Вас — дочка, а Вы вновь поступаете в университет. Каким образом можно было решиться на это?*

Меня восстановили без всяких слов. А как я живу и в каких условиях находится моя дочка — это никого не интересовало. Как фронтовичка, имевшая ребенка, я имела право получить комнату. Мытарств было много, но в конце концов попала в прекрасную комнату, хозяйка была в эвакуации... Дом принадлежал Ленфильму, а хозяйка — режиссер, которая снимала «Золушку»... Конечно, меня из этой комнаты потом выселили...

— *Как же Вы учились? Ведь есть дочка, за которой надо смотреть, ухаживать, кормить...*

Носила дочку каждое утро в ясли. Комната была нетопленная... Первое



Весна, 1952 г. С дочерью и свекровью

время не то что какой-то уход... о купании речи не было. Моя подруга Раечка (она сейчас живет в Ростове) жила в общежитии на Добролюбова, приносила каждый день в синей бутылочке кипяченой воды, чтобы можно было промыть ребенку глазки.

Но — учились: ребенок в яслях, на лекции хожу... Занимались, литературу по-немецки (домашнее чтение) читали. Голодные мы все, опять длинный талон на еду. Еду съедали — сразу всю — примерно в пять часов.

А ребенка моего потом перевели в круглосуточные ясли, видя, как я мучаюсь. Потом Михаил Николаевич демобилизовался...

Ребенок подрос, ходить девочка стала поздно, говорить тоже позже... Зато потом так заговорила!..

— *Вы закончили университет в 1947 г. Какое у Вас осталось впечатление от 12 декабря 1947 года, когда произошла отмена карточной системы?*

Денег у нас к тому времени осталось — одна мелочь. Ведь за хлеб надо было пла-

тить, а у нас денег почти нет... Но на хлеб осталось, мы к этому готовились. Встали мы очень рано и принесли домой булку серого хлеба... Дочечка наша — ей было тогда три года — поднялась в своей постельке, посмотрела пристально и сказала: «Что вы делаете?!» А мы едим хлеб. Она знала, что на детскую карточку выдавался такой маленький кусочек белого хлеба (100 граммов), и это ела всегда она.

Конечно, жизнь изменилась. Но 1947 год был еще голодный. И очереди... Но все это было ничто по сравнению с войной...

— *Наконец, Вы — дипломированный филолог. Тема Вашей дипломной работы?*

Я ходила в Публичную библиотеку и изучала одну из рукописей «Сатир» Ювенала. Латынь... Это, конечно, не рукопись самого Ювенала — рукопись IX–XII веков, тысяча раз переписанная. Кроме того, изучала рукописи «Писем» Плиния-младшего.

Потом была аспирантура. Тема — «Поздние сатиры Ювенала». Латынь. Где-то в 1948–1949 гг. появилась малень-

кая статья «О рукописях Плиния-младшего» — моя первая публикация.

— *Какие у Вас были переживания, когда Вы увидели напечатанной свою фамилию? Как это восприняли в семье?*

Довольно равнодушно. Они, в общем, были рады, что я на научной работе, считали, что это очень хорошо и правильно. И я до сих пор считаю, что мне безумно повезло. Я не думаю, что из меня мог бы получиться блестящий преподаватель. У меня для этого не хватало некоторых качеств. А научной работой я занималась с великим желанием, с преодолением всяческих трудностей и препятствий...

Диссертацию писала в основном летом, когда ребенка забирали с детсадом на дачу. И вот за несколько лет — в течение летних месяцев — я написала эту диссертацию. Защитилась в 1955 году.

— *Тогда Вы уже работали?*

Работала я разное. Немножко — на почасовой на филфаке. Потом в эти годы, еще несколько раньше — по указанию Сталина — стали открывать школы с латинским языком.

— *Неужели по указанию Сталина?..*

Все так говорили. Говорили, что это он вспоминал свою духовную семинарию. Наши латинисты были в восторге. Во-первых, появились вакансии для работы. Во-вторых, должны быть свои латинисты. Я работала в 27-й женской школе — здесь, на Васильевском острове. Не скажу, что все ученики были в восторге, некоторые тянули этот груз еле-еле, но были и увлеченные. До сих пор некоторые встречают меня и вспоминают... Два года я там преподавала. На второй год моей работы умер Сталин. И эти школы стали закрывать. Меня взяли в университет на полставки.

Но в университете опять были сокращения... И в это время меня встречает на Пушкинской площади Борис Варфоломеевич Федоренко (директор тогдашнего Отделения Института истории естествознания и техники) и говорит: «Мне про Вас говорили, что Вы — латинистка, а нам очень нужны такие специалисты». В общем, я рискнула. Я даже не уволилась еще из школы, одно время на двух работах рабо-

тала. И поступила, конечно, очень-очень правильно. Потому что это — то самое место, где я могла в наибольшей степени с интересом и с пользой работать.

— *Судьба оказалась к Вам благосклонной. Вы пересеклись с Федоренко совершенно случайно? Значит, судьба? Рок?*

Видите ли, с Архивом я уже была знакома. Там был такой Наум Михайлович Раскин, и я переводила ему... Когда я поступила в ИИЕТ на работу, я перевела статьи по химии одного химика XVIII века — на целый том, вот он у меня на полке стоит. А там — что характерно для того времени! — написано: две статьи перевела такая-то, а некоторые — Копелевич. Не остальные, а — некоторые. Все дело в одном слове. Тогда переводы вообще часто печатали без фамилий.

— *Почему? От чего это зависело?*

От директора Института. В то время был Н. А. Фигуровский. Тогда, например, работала Татьяна Николаевна Кладо — блестящий специалист — очень много переводила, и все это печаталось без ее фамилии.

— *Вы вошли в Институт истории естествознания, а это требует узкоспециализированных знаний. Как Вы с этим справлялись? Как Вы себя там нашли? Там нужны — механики, оптики, химики... А тут приходит юная латинистка, которая имеет все основания себя уважать... Какие же у нее роли?*

В это время в Институте уже начали подготовку к юбилею Эйлера. В 1957 году было 250 лет со дня рождения Леонарда Эйлера. Это был международный праздник с центром именно в Петербурге.

— *Я попросил бы рассказать об этом максимально подробно. Вы стояли у колыбели современной эйлеристики. Переоценить значение эйлеристики невозможно. Расскажите, как все начиналось, как формировался международный коллектив, как Вы туда вошли.*

Не обижайте эйлеристику. Это вовсе не было началом. Эйлеристика началась в 1911 году, когда математики различных стран, в том числе России, задумали издание «Орега omnia», т. е. полного собрания сочинений Эйлера.



Юбилей Гумбольдта. Дрезден, 1959 г. Ю. Х. Копелевич — первая слева

А я была — младший научный сотрудник, немного знающий латынь, но не имеющий понятия об Эйлере!

О том, что будет юбилей Эйлера и будет он отмечаться очень пышно, причем в России, — это заранее было известно. Надо было найти людей, которые могут переводить Эйлера. И меня включили в их число. Я была не одна. Была еще Татьяна Николаевна Кладо. Французский она знала лучше меня, а латынь, пожалуй, я знала не хуже ее. Мы обе были туда подключены, как переводчицы. Постепенно это дело разворачивалось, и Адольф Павлович Юшкевич был очень рад, что появились такие люди, которые могут работать в этой области. Я даже не могу сказать, кто первый высказал предложение — создать именно здесь, в Ленинграде, аннотированный указатель переписки Эйлера.

Мы начали письмо за письмом переводить...

— *Это были письма, которые хранятся в России?*

Потом нам начали присылать письма, которые хранились за границей, услышав, что у нас готовится такая книга.

И мы довольно много писем Эйлера получили из-за границы.

Я считаю, что это лучшее из всего, в чем я участвовала. Книга вышла в 1959 году — немножко, я помню, опоздала к юбилею...

Но уже к 1957 году мы выпустили книгу «Эйлер. Письма к ученым». В общем, этой книгой мы были втянуты в эйлеристику, и эта книга научила меня читать разные почерка. У меня этого навыка не было... Для того чтобы научиться читать разные почерки, надо прочитать тысячи писем... Вот тут я их и прочитала.

— *Эйлеристика началась с колоссального труда, с 2200 аннотаций. Но ведь там была огромная работа: необходимо прочитать и аннотировать все письма — с массой неизвестных фамилий. Эти фамилии надо было каким-то образом вскрыть, уточнить даты жизни, сообщить кратко: кто, откуда, где жил... Как же это все делалось?*

Трудом, не разгибаясь. Сидели, сидели в Архиве вплоть до закрытия. Или выписывали литературу к себе в Институт. Работали всем коллективом: Татьяна Ни-

колаевна Кладо, Татьяна Аркадьевна Лукина, я...

Потом издали второй том корреспонденции Эйлера, и там большую роль сыграла Анжела Юрьевна Шафран из Архива.

— *Как складывались Ваши отношения с коллегами, которые должны были комментировать Эйлера? Математиками, физиками...? Кто этим занимался?*

Тут был Владимир Иванович Смирнов — математик, академик. Он нам комментировал переписку Эйлера с Бернулли. Помогал также Адольф Павлович Юшкевич. Помощники были. Мы привлекали многих — кого могли, и книжка вышла неплохая.

— *Как Вы преодолели трудности с математическими терминами? Во-первых, — XVIII век, во-вторых, — латынь...*

Я поступила так, как каждый поступил бы на моем месте: постаралась воспользоваться теми статьями и книгами, которые уже переводились на русский язык.

Я переводила, как могла, и знала, что меня будет проверять Адольф Павлович Юшкевич или академик Смирнов...

— *Как Ваша работа была воспринята за рубежом? Ведь там работали десятки людей из разных стран. Переписку, кажется, издали еще не всю?...*

Восьмой том выйдет в ближайшее время. Все зарубежные рецензии были очень благоприятные.

— *А как Вы пришли к работе над биографиями? Сколько Вы написали биографических книг?*

Три. «Гольдбах», «Кратценштейн». И еще совсем недавно вышел «Гильденштедт».

— *Как это произошло? От вспомогательной работы высококвалифицированного, уникального переводчика Вы вышли к самостоятельной исторической работе? К созданию научных биографий?*

Раньше чем заняться биографиями, я обратилась к истории академий. И было это так. Работая над письмами Эйлера, я, естественно, не могла не заинтересоваться историей нашей Академии. Я читала

то, что есть: Пекарского и прочие книги. Солидные. И убедилась, что сейчас, когда я перелистала весь XVIII век в Архиве, многое можно написать иначе, полнее, лучше. Не взялась ли мне за это?

Меня очень поддержал Анатолий Васильевич Кольцов (он был заведующий нашим сектором и недавно, к сожалению, умер, довольно молодым). И тогда я ему сказала: «Анатолий Васильевич, что если я возьмусь написать об основании нашей Петербургской академии наук?» Мы тогда готовились к юбилею 1974 года — 250 лет Академии. А этот разговор был, наверное, в 1967 году. В это время у нас дома произошло важное событие: мы купили новую пишущую машинку. Когда я писала по Эйлеру, то перепечатывала все институтская машинистка, а тут я поняла, что надо все делать самой. И я решила приняться за эту тему. Кольцов это одобрил. Я начала работать по истории всех академий, — которые были. У меня было убеждение, что нельзя писать историю нашей Академии, не зная истории других. И как это все у них начиналось по сравнению с нами и в каком отношении это было с нами. Я стала все это читать и конспектировать. Я так этим увлеклась, что, наверное, пять общих тетрадей-конспектов сделала на эти темы. Когда Адольф Павлович спросил: «Как у Вас дела с историей нашей Академии?» — «Я еще не вышла из истории зарубежных». Я показала ему тетради, и он сразу сказал: «Так надо две книги сделать». Одну — про зарубежные академии, другую, потом, — про нашу.

Идея была такая хорошая, и я с огромным удовольствием писала книгу — прежде всего потому, что я сама раньше про это ничего не знала. Это было для меня открытием... Так в 1974 г. появилась книга «Возникновение научных академий».

Но появилась она тоже не без трудностей. До издательства книга попала в руки москвичей, и кто-то сказал: «Эта книга — аполитична». И что же Вы думаете? Делали замечания, что, мол, мало социальной стороны этого дела и тому подобное. И все это всерьез!

Но тут мой издательский редактор Сидоренко — прекрасный был парень! (он умер) — говорит: «Да что за проблемы! Давайте, например, поместим портрет

Ломоносова», хотя Ломоносов к основанию Академии никакого отношения не имел... И, знаете, такими нехитрыми приемами книгу спасли. Вышла эта книга, и я принялась за следующую — «Основание Петербургской академии наук». С большим энтузиазмом...

— *Две книги: 1974 и 1977 годов. У Вас каждые три года выходили книги? Значит, проблем с публикациями не было?*

Не было. Особенно на наши темы. История науки имела «зеленую улицу».

И уже потом я занялась научными биографиями. У нас в Институте есть серия «Научные биографии». Когда я занималась историей нашей Академии, мне встретился Кратценштейн, и я увидела, насколько он интересен... Поняла, что можно книжку о нем написать, и поговорила с Зинаидой Кузьминичной Соколовской, которая активно меня поддерживала.

— *Тогда расскажите, как Вы открыли для себя Гольдбаха. Исключительно как корреспондента Эйлера?*

Так началось. Мне кое-что понадобилось для Эйлера. Но когда я увидела эту грудку томов — весь его архив в РГАДА — его письма, дневники... Вся его жизнь, вся его деятельность лежит там в Архиве. И я поняла, что он мне очень интересен. Это до нашей Академии, это — период начала XVIII века. Я этот период знала плохо. Благодаря Гольдбаху, я очень многое узнала... Адольф Павлович сказал тогда: «Можно написать о Гольдбахе. Давайте, я напишу математическую часть, а Вы — биографическую». Вот такую книгу мы и написали, я очень этому рада.

— *Но почему Вы упустили при описании жизни Гольдбаха его службу в Шифровальном отделе, его самые яркие звездные часы? Человек сидел 22 года на шифровке и дешифровке депеш.*

Я должна признаться, что узнала об этом от Вас. Я когда узнала, что он перешел в этот Отдел, все время думала, что он там делал? И только когда Вы у нас выступали в Институте, я узнала, чем он занимался.

— *А чем заинтересовал Кратценштейн?*

Сам по себе он очень интересен. Это человек, изумительно любознательный. Он не удержался в России, потому что атмосфера была затхлая. Он вообще любил перемену мест... Но есть его переписка с Миллером, когда он уехал в Данию, есть одно замечательное место — в книжке об этом написала — но если можно будет, я напишу еще маленькую статью куда-нибудь: Ломоносов и Кратценштейн. Помните, в моей книге есть такой эпизод. Миллер переписывался с Кратценштейном. Миллер послал ему речь Ломоносова «О свете и цвете» на Публичном собрании, которая его восхитила, и послал ее Кратценштейну с такой припиской: «Вы не получили ее раньше, потому что она была известна только на русском языке, и наши академики не могли ее прочитать и не могли ее понять». А в следующем письме Кратценштейн пишет, что он в восторге от этой речи, ему стало ясно, что Ломоносов понял в этой проблеме — о цвете и свете — больше, чем Ньютон. И сам Ломоносов это так же понимал. Он пишет, что я обязательно напишу об этом в своем учебнике, который сейчас готовлю. Я все время думала, где бы достать этот учебник?... Некогда этим заняться.

— *А третий персонаж? Гильденштедт и его путешествия в екатерининские времена, включая астрономические наблюдения и прочее... Чем он Вас увлек?*

Знаете, все это случайно. Я как-то увидела два тома описания его путешествия на немецком языке и захотела их прочесть. И читала и конспектировала, и он меня очень заинтересовал как человек. Молодой врач, красавец, шлялся по России, голодал, болел... Побывал везде — на Кавказе, путешествовал по Тереку. Интересовался Россией, ее хозяйством главным образом... Мне показалось, что о нем мало знают и надо о нем написать.

— *Можете ли Вы сказать, что его сюда привлекло? Что удержало?*

Он мог быть врачом в Германии, может быть, хорошим врачом. Но здесь — он понимал — что будет участвовать в исследовании неизвестной страны, где он увидит массу новых растений, неизвестных науке



Историки Академии наук Ю. Х. Копелевич и Г. Е. Павлова. Кронштадт, 1960 г.

животных ... До этого уже была Камчатская экспедиция, которая многое не успела сделать. И если бы не случайная болезнь, он, наверное, многого достиг. Знаете, он ведь умер, заразившись, когда лечил кого-то в доме Эйлеров. Возможно, дифтерит...

— *Глядя на все сделанное, с высоты прожитых лет и накопленных знаний, что бы Вы оценили как самое-самое?*

Самую первую книжку — история академий. Без нее не было бы всего остального. Когда я писала о нашей Академии, я могла все сравнивать, как это было за рубежом и почему у нас было иначе. Без этой возможности сравнивать, я не могла бы ее написать. Просто повторять то, что есть у Пекарского, не имело смысла.

— *Сейчас мне хотелось бы обратиться к Вашему профессиональному опыту, к Ремесленному (с большой буквы) опыту и принципам, и затронуть те проблемы, которые были бы интересны тем, кто соприкоснется с этой областью знания.*

Расскажите о выборе тем исследований. Была ли у Вас какая-то единая идея, или это случайность, или нечаянная любовь?

Вы задаете такой вопрос... Много ли Вы знаете людей, которые могли бы связно и убедительно ответить на этот вопрос?

В моей биографии было очень много случайного. Единственное, что всегда я имела в виду, — что надо учитывать не только то, что интересно мне, но интересно нашему российскому читателю, которому не чужда наука вообще. Очень много людей интересуются историей физики, химии, но историей науки вообще — таких людей немного. И вот мне хотелось написать такое, что может заинтересовать этих людей. Интерес иногда возникал случайно. Зацепка за какой-нибудь эпизод, за какое-нибудь упоминание в письме...

— *Общих рекомендаций, по Вашему мнению, быть не может, но, главное, чтобы тема была интересна самому исследователю. А можно ли насильно быть*

милым или насильно мил не будешь в историко-научных исследованиях?

Какое здесь может быть насилие? Со стороны администрации?

— Скажем, заказные исследования — например, по Кулибину. Те, кто занимался этим, они же были рядом с Вами.

Это было заказное исследование не в том смысле, что это им заказали. Они знали, что это пойдет на «ура». Да, заработать репутацию и славу. Ведь каждая удачная работа дает возможность дальше работать. Поэтому люди стараются написать что-то такое, что откроет им дальнейший путь.

— Мне хотелось бы поговорить об историзме в истории науки. Большая часть исследований, как отечественных, так и зарубежных, — сколько мы читали таких работ! — построены так, что собственно научная канва подается в полном отрыве от исторических событий и особенностей времени. В исследованиях по Эйлеру, например, пропадает масса деталей, которые, безусловно, влияли на его творческий процесс... В результате в историко-научных работах остается только сугубо познавательное значение того или иного автора. Иными словами, предмет историко-научного анализа являются ответы на такие вопросы, как — кто что сделал? Что открыл? Какую теорию создал? Что написал? Практически исчезает воспитательное значение таких работ. А почему Эйлер занялся тем или другим? В каких условиях он это делал? Какие условия он преодолел?

Что я хотел сказать? Поясню примером. Нет нужды говорить в очередной раз о заслугах Эйлера. Но вот вопрос: где и как он мог найти силы для своего творчества? Если в доме у него было три сына и пять дочерей...

Пять, если считать тех, кто умер в младенчестве. А так — две.

— Этим дочерям надо было дать приданое и найти женихов. Где и как он в таких условиях находил силы писать каждый день по 15 писем, создавать свои труды? Разве это не достойная

тема, касающаяся великого человека? Как он обеспечивал семью и себя самого? Почему он содержал гостиницу и коров (это Вы мне про него рассказывали!)? Ведь это его неотъемлемая черта! Вынужденная, но неотъемлемая...

Или — другой пример: много пишется про зимние экспедиции XVIII века. Пишут о том, кто что наблюдал, какие звезды... например, Гильденштедт. А представим себе, что такое была дорога XVIII века? Дорога шириной полтора метра — двое саней не разъедутся, глубина снега — полметра, а путешествия — за тысячу верст. В книге о Попове было очень живописно рассказано, как два обоза разъехаться не могли и весь научный скарб выкинули просто в канаву... Каким образом люди сохраняли силы и интерес к науке, если они прошли такие муки?

И Вы думаете, что на такой вопрос кто-то может ответить?

— Почему нет?

Данных нет для такого ответа.

— Но именно это — тот фон, на котором вырисовывается подвиг. Почему никто до сих пор не обрисовал такую ситуацию: что такое Петербург в XVIII веке, город, в котором четыре месяца — полная ночь? Как заседала Академия в таких условиях? Чем топили? Чем освещались? Как добирались до места?

Нет ли, на Ваш взгляд, существенных, принципиальных потерь в объективности выводов при обсуждении научных достижений без учета политических и экономических условий, интеллектуального и производственного потенциала страны? На мой взгляд, при анализе научного творчества Эйлера то, что мы не знаем, в каких условиях он творил, мы его обедняем. И это — существенные потери.

Как-то сложилось так, и для этого, видимо, есть объективные причины, что этими вещами занимаются разные люди. Одни — самой наукой, другие — историей политики. И очень трудно это соединить в одном человеке. И я себе не

представляю, что я могла бы написать о политической обстановке вокруг Эйлера такого, что еще не известно и не написано.

— В «*Opera omnia*» даны ссылки на то, что Эйлер работал над дешифровкой русских депеш, т. е. был дешифровщиком и работал против русской армии, и даны ссылки на архив, где хранятся соответствующие документы. И вместе с тем он получал пенсию от Петербургской академии наук. И в то же время он поставлен в Академию наук России великодушных ученых. Вот вам какая двойственность!

Хорошо! Вот Вы и сформулировали все в той фразе, которую только что произнесли. Что еще Вы можете вокруг этого завязать?

— В первую очередь — его творческое состояние.

Как оно может быть описано?

— Ключевой вопрос вот в чем: упущена существенная часть характеристики великого человека. Человека, который смог все это преодолеть и сохранить высочайший профессиональный уровень! Историк надо восстановить, какие у него были нравственные усилия, какая ломка... — это же должно быть примером для молодых ученых!

Такой пример, мне кажется, в конечном счете важнее конкретных результатов. Вот есть — живой человек, который сумел сохранить себя, через это прошел.

И Вы хотите, чтобы кто-то сумел рассказать... Как? Если я сама про себя не могу сказать, как это было? Тогда как это сделать за меня?

— Но надо! Если все знают, что, например, чувствовал какой-нибудь там Карл XII после битвы под Полтавой? Что такое Карл XII по сравнению с Эйлером? Несопоставимые вещи! Что такое королева Анна, про которую написан «*Стакан воды*», и — Ньютон! Но «*Стакан воды*» знают все, знают герцогиню Мальборо... но никто не знает, что в это время чувствовал Ньютон.

Чтобы согласиться с тем, что это — существенные потери, нужно сказать дальше — как это делать? Как это анализировать? Привести примеры, как это сделано?

— К сожалению, никто этого не сделал. Вот про переживания королей, полководцев, правителей написано...

Отчасти это придумано.

— В какой-то мере эталоном таких изысков является анализ творчества Пушкина. Показано, как в тот или иной момент обстановка сказывалась на его творчестве. Надо просто перенести идеологию такого исследования на науку, на людей науки.

Это разные типы творчества!

— Однако столь значимые для человечества, как Вы самим понимаете. Пушкин — это, конечно, Пушкин, но Эйлер... — это вся цивилизация, современная, между прочим. Его теория, а также математический аппарат работают и сегодня.

Но есть ли хотя бы в мировой науке какой-то пример подобного анализа?

— Мне неизвестно.

И мне тоже.

— Как в Вашей практике сформировалась общая культура исследования? Что под этим понимается? И культура работы с источниками — ведь Вам и в голову не придет фальсифицировать ссылку? И культура работы с источниками на иностранных языках — с их двойственным чтением, двойственным смыслом многих слов? И культура изложения? Ваш язык — это образец. А также культура аргументации, культура и ответственность выводов. Как это формировалось в Вашей личной практике?

Я бы не сказала, что я образец в культуре исследования. Я довольно средний в этом отношении человек. Я бы сказала о себе, что мне очень свойственно сомнение. Вот если что-то вызывает у меня сомнение, я буду копать, копать... Я сталкиваюсь иногда с исследователями, которые, если найдут что-то, что им нравится,

что отвечает каким-то их представлениям, они это схватят, не сомневаясь, что это так. А я — пойду искать, где это сказано, чем это подтверждено... Конечно, это затрудняет работу, но я считаю это своим большим, врожденным, хорошим качеством.

— *На чем зародилось это чувство ответственности?*

Не знаю, может быть, это свойственно моей натуре... А может, это в том, какое чувство у меня возникает каждый раз, когда я вижу какую-нибудь халтуру... И каждый раз говорю себе: «Я бы постаралась этого избежать...» Трудно сказать, я этому специально не училась. Но я довольна, что за долгую жизнь и опыт написания довольно многих сочинений, я не утратила этого чувства. И до сих пор я, бывает, вижу какой-нибудь ляпсус в книге, который я должна была видеть в рукописи и, бывает, что я видела и сказала автору, а он не обратил внимания... Я очень эти вещи переживаю, глубоко... Будь у меня больше времени, я была бы более осторожной и более бережливой... Ну не получается иногда: хочешь одно, а получается — не совсем так.

— *Вы считаете, что Вы эту культуру приобрели, или она — врожденное свойство, исключительно из-за какой-то внутренней ответственности? Ведь историческое исследование перепроверить — крайне тяжело, прежде всего это весьма трудоемко...*

Я бы сказала, что эту культуру я приобрела, но в недостаточной степени, надо, чтобы было ее больше, надо было строже всякий раз доводить дело до конца, когда что-то мне не нравилось.

— *Какие люди могли служить эталоном в этом плане?*

Выдающийся наш латинист — покойный Яков Маркович Боровский.

— *И как выглядела эта тщательность, убедительность у него?*

Это выглядело так, что все, написанное им, мне не хотелось проверять. А про других думала: «Надо бы это проверить!»

В области истории науки, конечно, есть такие примеры. Андреев был таким... Гнучева... Те, кто писали обобщающие книги. Пекарский... Он написал

очень много и, конечно, не был тщателен в каждой мелочи, иначе бы не написал так много. Но во всяком случае читаешь и ему доверяешь.

Вы поставили такой вопрос, на который я не могу убедительно и коротко ответить.

— *Вы упомянули Петра Пекарского. Помимо прочего, язык его истории — страшно увлекательный, интригующий. Не просто — «поехал туда-то, написал это, встретился с тем-то, возражал тому-то...» Откуда взялась эта культура увлекательного исторического языка? Можно сослаться на Ключевского, который говорил: «Если история не увлекает, лучше ее не пишите»... Как Вы считаете, откуда берется это умение — увлеченность, если хотите, детективность?*

Это, наверное, в природе человека: у одних есть, у других — нет. Этому научиться нельзя.

— *Но это полезное качество или нет?*

Полезное, определенно. Ну если только, увлекаясь или стремясь к увлекательности, не забывать истину!..

— *Ваше мнение о культуре нынешних исследований в области истории науки, о культуре в том смысле, о котором мы только что говорили. Иными словами, есть ли разница между культурой исследований в 50-е годы (т.е. культурой Ваших соратников) и той, которая имеет место сейчас?*

Не знаю. За последние годы я довольна нашим журналом, ВИАТОМ. Они постарались привлечь интересных и широко образованных людей. И то, что написано, не вызывает протеста.

— *Над чем Вы сейчас работаете?*

Честно говоря, я сейчас думаю о том, что надо закругляться, т.е. завершать свою работу, чтобы не бросить потом что-то начатое незаконченным. Я — большая должника, поскольку пришлось писать много статей в связи со всякими юбилеями, и поэтому отстала в своей плановой теме «Вторая Камчатская экспедиция», и мне надо очень упорно наверстывать, чтобы довести ее до конца.

Значит, нужно это завершить, во-первых. Во-вторых, меня помимо моей воли — я, правда, не возражала, просто как-то не заметила, — включили в тему «Наука в Санкт-Петербургской академии» — словом, такая обобщающая работа. Там я должна написать статью о международных связях Академии наук. В общем, это я еще не закончила. А кроме того, наконец недавно вышла в свет коллективная монография «Советско-германские научные связи времени Веймарской республики».

Эта работа начиналась, когда была еще ГДР, у них был Институт истории науки. Потом, когда рухнула берлинская стена, наши москвичи, которые возглавляли эту работу, бросили ее, а мне было очень жалко, потому что было вложено много труда и интересные люди участвовали. Особенно один немец много работал, Рихтер, который несколько раз приезжал сюда, работал в библиотеках... Мне казалось, что невозможно, чтобы все это пропало и что это неоправданно, потому что тема не утратила своей актуальности. И если раньше ее главный стимул был показать, что люди могут вместе работать в науке, не взирая на разницу политических систем, то сейчас речь идет просто о полезности научных связей в любой ситуации. Кое-что осталось от прежней книги, а остальное — я взяла на себя обязательства организовать завершение этой книги, привлекла новых людей, и она должна выйти. По-моему, она будет полезна. Например, Вы имеете представление о том, что были Недели науки — Неделя русских естествоиспытателей в Берлине, Неделя немецких техников в Москве и Петербурге, Неделя русского сельского хозяйства в Германии... И были там интересные люди, которые потом пострадали, — например, Платонов, Егоров, — историки, которых подвели под «вышку»...

— *Что бы Вы могли сказать нынешней молодежи? Не помню, кто это сказал: «Молодежь — всегда права, даже если она несет глупость, по той простой причине, что за нею — будущее».*

Мне, по правде говоря, не везло в отношении молодежи. Был у меня один очень хороший аспирант — Миша Фундаминский. Но обстоятельства заставили его уехать в Германию. Там он сейчас работает в каких-то архивах, где есть русские фонды. Пока он был моим аспирантом, мы с ним хорошо общались и работали. С тех пор аспирантов у меня больше нет. Мне дали сейчас аспирантку, которая сама не знает, чем будет заниматься. В общем, это трудный случай.

— *И все-таки, что можно пожелать абстрактному молодому человеку, который займется или уже занимается историей науки? Не конкретному человеку, а поколению. Ведь будут они, они уже есть...*

Хотелось бы пожелать, во-первых, чтобы они начали с чтения хорошей литературы по истории науки. К нам приходят люди, которые ничего не читали. Во-вторых, чтобы они обязательно изучали языки. Я поздно начала заниматься языками. Если бы я пришла в этот Институт, уже зная немецкий, французский, английский... итальянский!...

— *А как Вы считаете, получают ли они наслаждение от этой профессиональной деятельности?*

Если не получают, пусть уходят. Всегда можно уйти. И чем раньше ты начал, тем больше у тебя времени и возможностей для перемены специальности. Как видите, сама я не сумела увлечь внуков своей профессией...

Беседу вел В. К. Новик

Р. С. Редакция ВИЕТ рада сообщить, что в адрес Юдифь Хаимовны Копелевич поступили письма-поздравления от наших авторов. Предоставляем им слово:

Дорогая Юдифь Хаимовна!

Я счастлив присоединить сегодня мой голос к голосам всех Ваших верных друзей и сотрудников, поздравляющих Вас по случаю Вашего славного юбилея.

Минувшее лихолетье лишило Вас высоких ученых степеней и званий, но ничто не может отнять у Вас авторитета крупнейшего специалиста по истории Академии наук России и деятельности выдающихся петербургских академиков XVIII века, в частности Леонарда Эйлера. При этом Ваша исключительная эрудиция, разностороннее образование и неисчерпаемое трудолюбие находятся в полном противоречии с Вашей поразительной скромностью, что, вместе с Вашей неизменной сердечной отзывчивостью, придает Вашему образу особую прелесть.

Полувековое сотрудничество с Вами, если можно назвать сотрудничеством постоянным обращением к Вам за советами и консультациями, всегда обогащало меня во всех отношениях и доставляло мне радость от общения с Вами.

Я надеюсь, что еще долгие годы буду прибегать к неиссякаемому источнику Ваших знаний при разрешении возникающих передо мной проблем.

Искренне Вам преданный



Глеб Константинович Михайлов,
доктор физ-мат. наук, профессор
Москва — Базель, ноябрь 2001 г.

Дорогая Юдифь Хаимовна!

От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем. Надеюсь, что, как и прежде, присущий Вам оптимизм и беззаветная преданность науке будут помогать Вам преодолевать любые жизненные тяготы.

Пройдя через суровые военные испытания, Вы особенно остро понимаете величие Санкт-Петербурга. Именно поэтому он и его наука навсегда стали Вашей любовью. Этим чувством, равно как и блестящей эрудицией, полны страницы Ваших, ставших классическими, исследований, посвященных истории основания Петербургской академии наук, возникновению научных академий как новой формы организации научного сообщества. Неоценимый вклад внесен Вами в подготовку первого тома фундаментального труда «Летопись Российской академии наук», открывшего так много нового из жизни родной для нас организации.

Ваши научные труды стали гордостью отечественной истории науки. К Вашей мудрости и энциклопедическим знаниям неизменно обращаются все те, для кого небезразлична история науки.

Желаю Вам в этот день крепкого здоровья, жизненной энергии и новых творческих достижений на благо Отечества.

Лауреат Нобелевской премии,
вице-президент РАН,
Председатель Президиума СПбНЦ РАН,
академик



Ж. И. Алферов